

ПРЕДЫСТОРИЯ



Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту оно окрашено в пурпур, прочерченный изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса по-светлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно-матовая. Здесь север, и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебристые блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует. Но небо какое-то холодное, даже солнце какое-то холодное.

Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как произошло нечто до того немислимое, до того страшное, что и сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало

времени и я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя и голова прояснится.

Я сказал — мемуары. Вот во что, значит, выльются эти записи? Там видно будет. Пока что, в возрасте одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну, так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше, какой это был бы документ! А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди — ничего, кроме «воспоминаний на покое». Исповедь себялюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли.

Театр — вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блесках, канувшие без следа пантомимы! Теперь я отрекись от волшебства и стану отшельником; поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать: мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалее ли я о том, что для меня эта пора не наступила раньше?

Писать необходимо, это-то ясно, и притом совсем не так, как я писал прежде. Все написанное мною прежде были однодневки, на большее я и не претендовал. Эти же мои записи — для потомства, они не могут не надеяться, что пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, *libellum**, творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, — для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть.

* Книга, книжечка (*лат.*).

Я и подумывал вести дневник — не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои *pensées**, на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений. Теперь мне снова кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинками моря я мог бы заполнить целый том. И систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хватит прилежания, это могло бы представить известный интерес, хоть я и не Уайт из Селборна**. Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами, каким-то чудом выросшими на моих желтых скалах...

Только не надо пытаться писать «красиво», это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете.

О благословенное северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами, не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа!

Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел.

Конечно же, нет смысла четко разграничивать «мемуары», «дневник», «философский журнал». Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой

* Размышления, думы (*фр.*).

** Гилберт Уайт (1720–1793) — английский священник, почти всю жизнь проживший в своем родном городке Селборн, в графстве Гемпшир, где написал книги «Естественная история и древности Селборна», «Календарь натуралиста» и др. В 1885 году в память его было основано Селборнское общество охраны птиц и растений. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

жизни, и о моем «мировоззрении». Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так бестревожно (ведь все тревоги остались позади) я и обрету свой «литературный жанр». Во всяком случае, к чему решать заранее? Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать? Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошедшее?

Покаяться в эгоизме. Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели? Но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало наконец время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство — будто никогда еще о себе и не думал — возникло у человека, которого популярная пресса заклеила как «тирана», «деспота» и (если память мне не изменяет) «чудовище властолюбия». Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности.

И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал однодневки, мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную книгу.

Сейчас, вероятно, самое время представиться... прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком буду-

щем, «оратор достаточно знаком», как говорят на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, — не очень долго, но все же. Да, да, я — Чарлз Эрроуби, и сейчас мне, скажем так, за шестьдесят. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, я — это именно я, широко известная фигура в блесках непрочной славы. Я уже давно решил, что после шестидесяти лет уйду из театра. («Ты никогда не уйдешь, — сказал мне Уилфрид. — Просто не сможешь». Он ошибся.) Я устал от театра, с меня хватит. Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал, — Сидни, Перегрин, Фрицци, да и Уилфрид и Клемент, когда были живы. И дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться «на гребне волны». (Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди!) Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест.

«Ладно, уходи, — говорили они, — но не воображай, что сможешь вернуться». А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. «Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». (Это высказался Сидни.) А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым.

Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру «неодобрительно», как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать, утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне, но может и уйти, если не дождется от меня внимания; нечто, не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от

нее — и тем равноценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей, которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, море — моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой мою драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит! А я, признаться, и сам толком не понимаю, что хотел сказать. Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления.

Все это я записывал в течение нескольких дней — чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желания сделать эту мечту явью.

Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим «утесом», хотя он даже во время отлива не выше двадцати футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд сна словно обволакивает тело теплой серебряной кожей, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в четырнадцать лет.

Я — бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно, даже при такой слабой зыби, оказалось выбраться обратно на берег. Мой «утес» чуть круче, чем нужно, а высту-

пы — чуть уже. Легкие волны дразнили меня — приподнимали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее — подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостясь боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.

С самого приезда сюда я позволяю себе удовольствие купаться нагишом. По счастью, этот скалистый участок берега не привлекает туристов с их «ребятишками». Здесь нет ни намека на какой-либо песчаный пляж. Кто-то, я слышал, сказал, что берег здесь ни к черту. Подольше бы за ним держалась такая репутация! Скалы, что тянутся в обе стороны от моего дома, и впрямь не живописны. Они песочно-желтого цвета, в веснушках кристаллов, навалены огромными бесформенными грудями. Ниже линии прилива они обвешаны фестонами блестящих, колючих темно-бурых водорослей с неприятным запахом. Однако для тех, кто поднимется выше, они таят великое множество радостей. Там попадаются маленькие узкие ущелья, и в них — где озерко, где миниатюрная осыпь из поразительно разнообразных и красивых камней. Есть там и цветы, ухитрившиеся пустить корни в расщелинах: розовая армерия и бледно-лиловый просвирник, что-

то вроде ползучего белого морского горичцвета и сине-зеленое растение с листьями как у капусты, и камнеломка, такая крошечная, что ее листья и цветы почти не видны невооруженным глазом. Надо будет разыскать мою лупу и рассмотреть ее как следует.

А еще для этого участка берега характерно, что тут и там вода промыла в скалах ямы. Гротами их не назовешь, много чести, но, если смотреть на них снизу, из воды, выглядят они интересно и немного зловеще. В одном месте, совсем близко от моего дома, вода построила из скал горбатый мост, под которым она с грохотом врывается в глубокую, с отвесными краями впадину. Мне почему-то очень нравится стоять на этом мосту и глядеть, как вспененные волны, кидаясь вперед и отступая, рождают в этой замкнутой каменной яме неистовое противоборство сил.

Вот и еще день прошел. Погода держится прекрасная. С самого приезда сюда я не получил ни одного письма. Моя бывшая секретарша мисс Кауфман по доброте своей оставляет в Лондоне быстро мелеющий поток моей деловой корреспонденции. Да и от кого мне хотелось бы получить письмо? Разве что от Лиззи, а она, вероятно, на гастролях.

Я продолжаю обследовать скалы по пути к моей башне. Да, ведь я теперь владелец не только дома и скал, но и полуразрушенной башни «мартелло». От нее, увы, остался один остов. Хорошо бы восстановить ее, устроить внутри винтовую лестницу, а наверху — комнату для занятий, но я, вопреки распространенному мнению, не богат. Мой дом у моря поглотил почти все мои сбережения. Правда, у меня хорошая

пенсия — этим я обязан практическому складу ума милой Клемент. Но нужно экономить. Возле башни меня порадовала археологическая находка, свидетельствующая, между прочим, о том, что не только мне было трудно выбираться из этого моря. В потайной бухточке под башней, невидимые кроме как прямо сверху, в скале вырублены несколько ступенек, спускающихся в воду, а над ними укреплен железный поручень. К несчастью, нижний конец поручня отломился, а скользкие ступеньки при сильной волне бесполезны, особенно во время отлива. Волны попросту сбивают вас с ног. Прямо-таки поражаешься, какую упорную, молчаливую силищу способно проявить мое шаловливое море! Но самая идея превосходна. Поручень надо надставить. И заодно мне пришло в голову, что, если в стену моего «утеса» забить несколько костылей, это будут отличные точки опоры для рук и для ног, чтобы выбираться из воды независимо от прилива. Надо разузнать в деревне насчет рабочих.

Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал, не одеваясь, на траве возле башни с ощущением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибывать к ней дощечку «Частное владение». Этот лужок возле башни — единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки позади дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая, образует как бы плотные круглые коврики, крепкие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валериана, а густо-фиолетовые цветы тимьяна глядят из травы и цепляются за скалы подальше от берега. Их,

как и ту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было десять лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них, и мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы очертя голову не увлекся театром.

По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной и любопытной жизнью! Нужно купить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требований, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось — я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нем.

Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда, одно другого вкуснее: горячие гренки с паштетом из анчоусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским маслом. (Самое лучшее, не безвкусное прованское масло — это очень существенно, я привез с собой запас из Лондона.) Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке (до нее мили две, приятная прогулка) его не оказалось. (На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню.) Затем бананы и сливки с сахарной пудрой (бананы резать, ни в коем случае не разминать, сливки негустые). Затем крекеры

с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю, наши сыры — лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных «подвалов». Я пил и ел медленно, как и следует («готовить быстро, есть не спеша»), не отвлекаясь, благодарение богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли — все это важно, но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром, и да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода.

Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу — «В четыре минуты. Поваренная книга Чарльза Эрроуби»? Четыре минуты — это, разумеется, время активной стряпни; время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых «быстрых» кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике «пятнадцать минут» означают полчаса, и там содержатся такие указания, как «слегка взбить мутовкой». А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга, наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а возможно, и не знают, что это такое. Но они — гедонисты. Как известно любому сознательному себялюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих (не во всех) других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение.

Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое, с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? (Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами.) Один из секретов счастливой жизни — непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени — тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша, но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют (в особенности то, как широко я пользуюсь консервами); и, уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они (главным образом женщины — Жанна, Дорис, Розмэри, Лиззи) словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», — бестактно уверяли они. «Обеды у Чарлза — это просто пикники», — заметила как-то Рита Гиббонс. Вот именно, хорошие, замечательные пикники. Но добавлю к слову, что у меня гости сидят за столом, *никогда* не держат тарелку на коленях и *всегда* к их услугам салфетки, настоящие, а не бумажные.

Пицца — тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готовила «просто, но вкусно», однако ей недоставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю

в еде превыше всего. Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивели излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую и далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкушать простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренок с маслом, а если угодно, еще и с селедочным паштетом! Или вареный репчатый лук и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы. А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком — это ли не блюдо для королей! Но и тут находились люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. (Один журналист окрестил мои обеды «Ветер в ивах»^{*}.) А иные так всерьез на меня обижались.

Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих *haute cuisine*^{**}, мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленна, прежде всего, сама трата времени, хотя есть, очевидно, несчастные женщины,

^{*} «Ветер в ветлах» — роман для детей (1908) английского писателя Кеннета Грэма, одно время пользовавшийся огромной популярностью.

^{**} Высокая кухня (*фр.*).

которым нечем себя занять, кроме как стиральной. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше «творческого» элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша; но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель, очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя нипочем не сознались бы в этом. Большинство моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед (оставляя половину на тарелках) в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом, — тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских «приличиях», а не подлинным инстинктом гостеприимства. *Haute cuisine* даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не смущают, а еще лучше, конечно, в одиночест-

ве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы.

После этой тирады описание дома придется, пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я (как читатель уже мог убедиться) не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса и любители бифштексов наводят на меня ужас. Но некоторые продукты (например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба) занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без них мне бы не хотелось; здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него.

Теперь-то я наконец опишу мой дом. Называется он Шрафф-Энд. Энд — конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Какой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шрафф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних (пока весьма немногочисленных) знакомых — у владелицы лавки и хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что «Шрафф» означает «черный». (Shruff — schwarz? Едва ли.) Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некоей «старой леди» по имени миссис Чорни, но лично с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сы-

ро, стоит он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются (в Америке мне случалось жить и без этих удобств), но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе. Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», — сказал он. Что правда, то правда.

Местоположение его пленяет сердце, хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь! С тех пор как я здесь живу (то есть уже больше месяца), погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверхности. Из обращенных к морю верхних окон (где я сейчас сижу) видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно — только прибрежные скалы слоноподобной формы и размеров. С черного хода, из кухни, попадаешь на маленькую, окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалявшейся до плотности кактуса травой. Лужайку эту я оставлю в ведении природы — я не садовник (до сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли). А природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним — каменное корытце, в которое я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции; так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни.

От парадной двери дома по высокой каменной дамбе, своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый «приморским шоссе». Оно гудронировано, но посередине сквозь гудрон пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни: я так и не научился водить машину, не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди, обычно женщины, жаждущие отвезти меня, куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках — надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты; здесь оправой им служит жесткая пружинистая трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадают (посеянные человеком или природой?) жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим «цветником» местность становится более ровной и пустынной — только утесник да вереск да кое-где предательские «окна», источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полтора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье — ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет.

Приморское шоссе, если свернуть по нему вправо, ныряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в трех-четыре милиях от моего дома, имеется заведение под вывеской «Отель “Ворон”», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Сама бухта очень красива в ожерелье из больших, необычной формы, почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее Воронова бухта, по названию отеля, но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор» (бухта Шор — Береговая? Почему бы?). Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятое узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом*. Путь прорублен в обнаженных скалах, которые в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем — крошечный каменистый пляж, единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал — чудо строительного искусства — уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбацьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее: иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Даль-

* Хайберский проход — ущелье длиной 53 км в Сулеймановых горах в Афганистане. По его дну протекает река Кабул. Во время многочисленных попыток Британской империи проникнуть в Афганистан путь английских войск проходил по этому ущелью.

ше, за гаванью, в скалах выбиты длинные покатые ступени, это так называемое «дамское купанье». Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. (Местные жители почти не купаются, это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия.) Надо сказать, что «дамское купанье» так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в проселок (к сожалению, проходимый для автомобилей) и лезет вверх, в дикую местность, которую я еще не успел обследовать, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами. А гудрон сворачивает прочь от моря — в деревню и дальше.

Деревня называется Нарроудин, о чем оповещает надпись на красивом каменном указателе у поворота приморского шоссе. Нарроудин — это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс», нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один — «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня, но интересно в архитектурном отношении только одно здание — церковь, отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба здесь бывает, правда — всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревуш-

ки дальше от моря, за фермой Аморн, там местность не такая суровая и есть пастбища для овец. В Нарроудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы; впрочем, в мои планы и не входило водить знакомство с пастором и с помещиком! Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как «интеллектуалы», которых в наши дни рискуешь встретить где угодно. Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное *cimetière marin**, свидетельство того, что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробие особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись: «Молчун. 1879–1918». Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали. Бедняга.

А теперь вернемся в Шрафф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом — кирпичный, «двухфасадный», с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем. Кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один, на этом диком берегу, он, без сомнения, выглядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упроченной

* Кладбище для моряков (*фр.*). Слова эти даны по-французски по ассоциации с поэмой Поля Валери «Морское кладбище».

штукатуркой, очевидно, для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во всех комнатах — целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, с шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри в занавешенной шторами комнате желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире.

Одну из комнат нижнего этажа я называю «книжной» (там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные), другую — столовой (там я держу вино). Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху — в спальне и в гостиной, как я решил ее именовать, внизу — в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате, которую я называю «красной». Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет, для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишашая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него повеяло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, ко-

нечно, потребовать заключение инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный звонок — длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне.

Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этаже есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху — из гостиной, внизу — из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты — очень темные и совершенно пустые, в нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней — столик, и там же на стене затейливый чугунный кронштейн для лампы, единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще небогатая, и своих вещей я привез очень мало. (Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду!) Эта пустота меня вполне устраивает; в отличие от Джеймса я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я ни сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то у места. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, а почти все остальное перевез в крошечный *pied-à-terre** в Шепердс-Буше, свалил там кое-как и запер на ключ.

* Временное пристанище (*фр.*).

Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне; это меня друзья уговорили.

Я сказал: друзья, а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в театре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули: Клемент Мэйкин умерла, Уилфрид Даннинг умер. Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио, Фрицци Айтель погиб — процветает в Калифорнии. Остались единицы: Перри, Алоиз, Маркус, Гилберт, считанные женщины... Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный, какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства.

Писем все нет.

Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны, темно-синие, с белыми гребешками.

Я отправился собирать пла́вник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбраться из воды — пляж поднимается ступенями, и волны

упорно смывали с них камни, прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный и забыл прихватить дрова, которые успел собрать.

Сейчас я уже подкрепился (чечевичный суп, потом колбаски «чиполата» с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем; вино — легкое бургундское) и чувствую себя лучше. (Свежие абрикосы, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, — божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов — абрикос.)

Пойти вздремнуть.

Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный, весь в пятнах, прекрасный стол палисандрового дерева, некогда собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на нем бумаги и книги. Окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, этакие вертолетики. Ламп в доме всего четыре, в полной исправности и тоже из собрания Чорни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с Фрици. А вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для

меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало, я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил.

Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашенной в черное деревянной отделкой — множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземпляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты (есть в нем что-то растительное, на восточный лад).

Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный свет — извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь: с тех пор как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. («Родился я на заре нового века, в городе...» — ну и так далее.) Для связного рассказа о моей жизни найдется и время и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одно только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том.

Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывают в тумане. В прихожей темно и нет ничего интересного, кроме большо-